

МАРГИТ КАФФКА

Цвета и годы



Москва

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44
К30

Margit Kaffka
SZÍNEK ÉS ÉVEK

Перевод с венгерского *Олега Россиянова*

Художественное оформление серии *Натальи Портяной*

Каффка, Маргит.

К30 Цвета и годы / Маргит Каффка ; [перевод с венгерского О. Россиянова]. — Москва : Эксмо, 2026. — 320 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-236286-6

Роман «Цвета и годы» — одно из самых тонких и пронзительных произведений венгерской литературы начала XX века, созданное Маргит Каффка. Это исповедальная история женщины, проживающей жизнь не как торжество, а как медленное угасание надежд — и все же не лишенную внутреннего света.

Героиня, Магда, оглядывается на пройденный путь: юность, окрашенную мечтами, брак, обещавший опору, и годы, в которых одна за другой растворяются иллюзии. Через ее воспоминания проступает судьба целого поколения женщин, чья жизнь была заключена в строгие рамки общественных ожиданий. Но за внешней покорностью скрывается напряженная внутренняя борьба — тихое сопротивление, боль утрат и редкие, почти незаметные, мгновения подлинной свободы.

Каффка создает удивительно живую ткань повествования, где «цвета» — это не только оттенки воспоминаний, но и метафора пережитого, а «годы» — мера неизбежных перемен. Сдержанный, прозрачный стиль романа обнажает глубину чувств, не прибегая к громким словам, и делает эту книгу близкой и современной.

«Цвета и годы» — это не просто хроника одной жизни, а тихая, честная исповедь о времени, которое меняет все, кроме самой жадной быть услышанной.

УДК 821.511.141-31
ББК 84(4Вен)-44

ISBN 978-5-04-236286-6

© Россиянов О.К., перевод на русский язык.
Наследники, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

1

Тишь и покой окружают меня с некоторых пор. Там, вдали, по-прежнему бежит жизнь с ее докуками, спешкой, дележкой, а я, если и гляну на все это, удивляюсь только ребячливому любопытству, с каким эти нынешние ждут, что принесет им день завтрашний или послезавтрашний. И даже помыслить странно, что для молодых все так же ново, интересно, как мне — случившееся тридцать лет назад. На мой взгляд, во всей этой пестрой толчее так много от игры! Как дети: давай поиграем в дочки-матери или в магазин. Пусть это у нас кораблик, а мы будто в бурю плывем. И взрослые ведь тоже вживаются в свои роли, изображают кто рвение и усердие, кто ветренность, страсть или злобу и ненависть. Надо же как-то время провести, убедить себя: дескать, это очень важно. А иначе мы просто сидели бы себе в сторонке сложа руки, что, наверно, и естественно, ибо прочее все — один глубокомысленный самообман.

Плохо ли, хорошо ли, но избранную роль мы уже доигрываем до конца. Хотя и не так, как в пьесах выдуманных, в театре, где все сообразуются

с поступками главного действующего лица. В жизни всяк сам себе главное действующее лицо, и никто второстепенных ролей не исполняет — играет только себя и для одного себя. Отсюда множество непредвиденных сюжетных осложнений, которые всех нас безумно занимают, — пока мы в них участвуем. Кто в кого влюбился, кого потерял, как воспитывает детей, чего добивается в этом мире и как его покидает. А отыграл свое, сделал, что мог и что вообще можно сделать в жизни, удаляйся на покой, если тебе еще отпущен годик-другой.

Спешу заверить людей еще молодых: старость, перед которой они содрогаются, зло не столь безусловное и чудовищное, каким оно им представляется. Одно состояние ощущается не острее другого, и человек не может страдать от недостатка того, к чему уже и склонность потерял. При сносном здоровье и старость не в тягость; если руки-ноги еще служат, то и кофейку горячего выпить, в уютной комнате посидеть, поспать всласть тоже куда как приятно, и достаются эти радости не такой уж дорогой ценой — не приходится столько биться за них, страдать, рисковать. Я женщина пожилая, весной минуло пятьдесят, — пожилая и одинокая; но как вспомню, сравню с теперешним моим житьем-бытьем, сколько горя пришлось повидать и как мало истинного счастья... да и оно вспоминается будто во сне. Нет, в худшем положении я себя ничуть не чувствую и надеюсь, что и смерть, когда придет, не покажется слишком уж страшной, хотя пока я и боюсь ее.

Старость ощущается скорее в сопоставлении с миром внешним, посторонним. Постепенно ото всего отходишь, отдаляешься, ничье отношение тебя уже больше не заботит, а прежде ведь, бывало,

не очень позволяешь манкировать собой. Комедия там, в большом мире, начинается сызнова — только исполнители и декорации другие. Звонки звонят, и люди идут, а тебе уже неинтересно. Иной раз и хочется сказать: «Да перестаньте! Какая разница, так повернется действие или этак? Развязка все равно одна». Но правота не на нашей стороне. Это же ведь их спектакль. И мы в своем составе играли в общем не лучше.

Нет уже в старости твердых целей и намерений, но не такая еще это беда, как думает молодежь. Она прилагает преклонный возраст к своему душевному состоянию, а нас ведь и жизнь изменяет, не только смерть, — и я теперешняя не берусь отвечать за поступки той особы, которая звалась моим именем двадцать лет назад. Порой вспоминаю о ней совсем как о незнакомке. Вот мечется, разрывается из-за детей, думая, что так будет всегда. Действительно, стариков обычно так или иначе связывают с жизнью дети; да только и тут есть нечто показное, немножко от роли, игры. А на самом деле дети очень далеко уходят от нас, и наш интерес к их судьбе — лишь благое намерение, самообольщение; ничья судьба, никакие перемены в эти годы уже не слишком новы и важны для нас. Быть может, у других бывает чуть иначе, но я оказалась целиком предоставленной себе.

Говорю это, право же, без тени какой-либо жалобы на одиночество или бесцельность своего существования. Так любила людскую суету, так стремилась всегда к чему-то, и вот сижу в тишине своего крохотного, нагретого солнцем садика или поглядываю сквозь жалюзи на улицу в развесистых акациях. Выходить почти не выхожу, и ко мне по неделям глаз никто не кажет. «Не рановато ли, —

подумаю иногда, — так уж отрешаться от мира». Но очень я, наверно, устала.

Подолгу могу сидеть так, сложив руки на коленях, — кто бы раньше подумал?.. У этой моей квартирki отдельный выход через садовую калитку на узенькую улочку; по ней хожу я обыкновенно в церковь и с хозяевами, зажиточными пожилыми швабами, вообще могу не встречаться, если не хочу. А помощь понадобится — они всегда рядом, и люди незлые. Вот и выхожу только посидеть на веранде, и тихий благовест доносится до меня сквозь голубоватую вечернюю дымку вместе с теплым ароматом моих старушечьих цветочков с клочка садовой земли. Прямо напротив, у глухой соседской стены раскрыла свои глазки виола, поближе — грядки резеды и гелиотропа, потом шпорник, базилик, сердечник и целозия, вперемешку. У террасы, среди невзрачного портулака, — несколько кустов розовой мальвы и три кадки с олеандрами в цвету. Олеандры — из отростков, которые я отломила еще со старых деревьев; олеандры у нас всегда сажались и разводились. А в доме у меня, в комнатке с кухонькой, — остатки ветхой мебели, разная рухлядь: все от первого моего приданого вот уже тридцатидвухлетней давности. И опять — удивительное дело! Сколько было разбросано, раскидано всего в жизни, а за этот привычный старый хлам, хоть и образумливают дочки, я держусь, — не хочу трогаться из городка, из насыщенного угла, который никогда уже не покину. Тут прошла моя жизнь, тут меня всякий знает; никому не требуется объяснять, кто я такая и по какому праву здесь. Люди молодые или приезжие посматривают на меня с любопытством, немногие же из оставшихся старых знакомцев, кто

завидовал мне, любил или обижал, — все смягчились понемножку. Вот так смывается, стирается все. Подчас даже радуемся друг другу, столкнувшись у церкви, будто земляки в чужедальнем краю.

Не скажу, что эти несколько лет, прожитые без забот и хлопот, ничего нового мне не принесли. До многого лишь теперь руки дошли. Прежде я читала очень мало и всегда второпях, а сейчас успеваю гораздо больше, легче сосредоточиться в этой тишине. Правда, книжки научные, всякие новомодные сочинения дочери шлют напрасно; в них особенно много далекого, чуждого мне. Хотя я и понимаю все, но судить по-новому об определенных вещах, об устройстве жизни уже не могу. Зато поэтическую выдумку, хорошие романы и всякое такое я только сейчас полюбила по-настоящему — и научилась отличать серьезные произведения от легковесных. Да и поразмышлять мне раньше за целых три года не удавалось столько, сколько теперь за один.

Да, просто поразмыслить — и вечно об одном: как было и как могло быть. А уж сколько я об этом думаю... в полном смысле переживаю жизнь сначала. Другие предаются грезам в молодости; я же всегда была натурой деятельной и вот теперь восполняю пробел. Как изменчива природа человеческая! Но все же это теперешнее мое свойство, наверно, и прежде подспудно жило, таилось во мне.

Только этим объяснимо, почему от истинно смелых шагов, настоящих решений постоянно удерживала меня какая-то странная робость. Знаю: не раз могла бы я метнуть жребий отважней, совсем изменить свою судьбу... Но нынче уже поздно об этом сожалеть! И без того предовольно выпало на мою долю плохого и хорошего, хватит до самой смерти,

над чем мозгами пораскинуть. Возьмусь иной раз перелистывать прошлое, как альбом или книжку с картинками, и придет на ум: неужто это я? Остановлюсь и подумаю: ладно, что было, то было, но еще раз повторять я не стала бы ничего.

Перебирая вот так, опять и опять воскрешая вещи давно прошедшие, порой упускаешь связь между ними; чересчур разветвленная, она нет-нет да и теряет отчетливость перед мысленным взором. Сколько причин у всего; ища единственную, я не убеждена, всегда ли нахожу верную, главную, и уж понятия не имею, права ли в мелочах, — может, просто представляла себе и пересказывала так, пока сама не уверовала. Это как в горах (знаю по рассказам): отошел на несколько шагов — и совершенно меняется весь вид, пейзаж, расположение долин и вершин. На каждом привале совсем другая панорама. Так и с минувшими событиями. Очень может быть, что все принимаемое мной сейчас за историю моей жизни — только образ ее, сложенный по моему сегодняшнему разумению. Но тем более, значит, он *мой*, и не придумать игрушки занятнее, бесценнее и многоцветнее. Чтобы играть в нее этими теплыми, одинокими, тихозвонными вечерами.

2

Цветы эти росли и в саду старого Зимановского дома, где я провела детство: те же мальва да про-сви́рняк, резеда, базилик, сердечник и башмачки. Только сад был большой, занимал все земельное владение Зиманов в городе, некогда огромное, до самой улицы Хетшаштолл и Хайдувароша. Лишь

позже, после того как обстроилась улица Меде, наша «гроси»¹ — бабушка Зимам — продала из него за хорошие деньги два-три участка под дома. Но и когда мы там играли, можно еще было далеко убежать от хлевов и старой развалившейся сушильни в зарослях бузины до «скамейки в тенечке» на заброшенном пчельнике за огородом. Как просторны, как щедро вместительны эти сады детства! Прошлый год, когда снесли окончательно старый дом (теперь на его месте новая паровая баня), проходила я мимо и заглянула за забор. Участок показался мне гораздо меньше: обыкновенный неказистый пустырь.

Втроем с двумя младшими братишками носились мы там чуть не с младенческих лет, после смерти отца, резвясь, буяня и хозяйничая, — настоящими дикарями, без ухода и надзора, и, по-моему, были счастливы. Жаль, что память так мало сохраняет из богатой сокровищницы детства — отдельные случаи, мелкие эпизоды, да и те в измененном виде: в каком позже думалось или упоминалось изредка о них. Ныне, зная дальнейшую нашу судьбу, припоминаю, что Шандорка был помягче, позадумчивей брата: кроткий, похожий на девочку мальчик.

С Шандором придумывали мы игры совсем фантастические, странные, — играли и потом как бы продолжали жить в этом своем несуществующем, выдуманном мире. Уговорились, будто обитаем под землей, в таинственных, освещенных лиловыми и синими фонарями полутемных ходах и переходах. Я была королевой Вульпавергой, он — ко-

¹ Гроси — бабушка (уменьшительное от нем. *Grossmutter*). — Здесь и далее примечания переводчика.

ролем Ромбертаро. А здесь, на поверхности, ходим якобы переодетые и к гроби нашей в дом попали совершенно случайно, ведь у нас заботы поважнее: он ухаживает за корнями цветов и деревьев и велит, когда выпасть дождю, когда снегу; у меня же хлопот полон рот с целым роем малюток-фей, лентяек и недотрог, которые обязательно забудут развернуть в срок бутоны, надушить их, вымыть к утру листочки — и всякое неряшество творят. Кажется, из какой-то немецкой книжки с картинками подхватили мы поначалу эти глупости, но после до того вжились в них, часами изъясняясь речами Вульпаверги-Ромбертаро и такими мельчайшими подробностями уснащая свой сказочный мирок, что под конец уже становилось душно в нем, неумоготу. «Давай будем опять Шандор и Магда!» — предлагала я нетерпеливо, но он оставался глух к моим уговорам, с трудом покидая царство миража и все именуя меня «ваше величество». Еле удавалось отвязаться от него.

Тут я вступала в сообщничество с Чабой и целыми днями нарочно дразнила, донимала презрением бедного короля Ромбертаро, хотя нашей с ним тайны никогда не выдавала. Знала, что опять к нему вернусь, а это — только передохнуть и освежиться. Какие Чаба «кунштюки» выделявал на пчельнике, на приставленных к навесу лесенках! Мы играли с ним в акробатов, воспроизводя, что успели подсмотреть у входа в ярмарочный балаганчик, из-за будки, где продавались билеты. Он меня и из рогатки учил стрелять по воробьям или тайком перелезал со мной через стену в проулок Хайду, между садом и комитатской¹ ратушей.

¹ Комитат — область, губерния в старой Венгрии.

Старинная крепостная стена в этом месте уступом подходила к нашей, которая даже сложена была совершенно одинаково. Тот же, наверно, каменщик клал при каком-нибудь Зимане-губернаторе.

Прямо напротив, под сводом была дверь, а за ней — узкая, пахнувшая плесенью галерейка; она шла вдоль арестантской, упираясь в каморку тюремщика. Жену его мы знали, она приторговывала на базаре и у нас подле виноградника обирала с деревьев вишню, абрикосы. На эту галерейку выходили низенькие, зарешеченные окошки, и мы, бывало, промчимся вдоль них — туда и сразу обратно, едва замутнеет в каком-нибудь серая тень в длинном тюремном балахоне с пугающе бледным лицом. Сердце у меня колотилось отчаянно, боялась я ужасно, но отказаться от искушения не могла. Как-то прослышали мы, что туда посажен разбойник, Герге Олах, и его должны повесить. Играл с нами еще Пали Каллош, соседский мальчик, и, помню, это я подзадорила их: пошли поглядим на Герге Олаха. Смеркалось уже, в проулке не было ни души. Но от страха ноги у меня вдруг подкосились, и, прислонясь к каменной стене, я только мальчиков все посылала вперед: «Ну же, ну! Вон, третье окно». Решившись, они на цыпочках нырнули в полутьму, и зловещие косые тени меж окошек поглотили их. На минуту почудилось, будто два неестественно огромных, бесплотных привидения беззвучно скользят там, по этой бесконечной галерее, — и тишина, тишина... Вот исчезли, растворились под самым карнизом, в невероятной дали и высоте. Я взвизгнула, сама не своя, и без чувств повалилась на каменный порог, но еще слышала топот убегающих мальчишек: из одного окна кто-то ругнулся

на них. Потом вышла надзирательница, подняла меня. Дома из-за всего этого разразился ужасающий скандал, и мы час простояли на коленках на кукурузе в комнате у гроби... Было мне тогда лет десять. И всю жизнь потом преследовала меня во сне эта длинная, полутемная галерея такая же зловеще враждебная, хотя после, в солнечные дни, — и взрослой — я, бывало, равнодушно проходила мимо. Теперь этой арестантской в помине нет; на ее месте, во вновь отстроенном крыле, помещается вполне современная тюрьма.

Обучал нас до той поры домашний учитель; но тут мама моя, Клари, отдала меня в школу Жофи Вагнер. Было это жалкое провинциальное заведение, которое содержала одна осевшая в нашем городке немка, бывшая гувернантка, а две ее взрослые дочери там преподавали. Раз в неделю приходил еще священник-пиарист¹ — с пятого на десятое что-то объяснял. Подвесил, помнится, на веревочке оловянную пуговицу: это, дескать, маятник. Но что там было с этим маятником и все прочее не очень помню. Дочери посмеиваются над моим невежеством, и правда: систематичности было маловато. Обо всех этих вещах узнавала я лишь урывками позже, со слов или из газет.

Плата за ученье в школе Жофи Вагнер была одинакова для бедных и богатых; разница сводилась к тому, что маленькие «буржуазки», дочки ремесленников и лавочников, величали ее *gnädige Frau*², мы же называли просто «танте»³. Немецкий язык был обязателен, и «танте» сурово выгова-

¹ Пиаристы — монашеский орден.

² Госпожа, сударыня (*нем.*).

³ Танте — тетя (от *нем.* Tante).

ривала погрешившим против этого требования. «Но если мы не знаем, как сказать», — оправдывались сапожниковы дочки с венгерских улиц. «Тогда спросить надо». — «Но как спросить?» — «Wie sagt man das deutsch¹, вот как». В результате мы до того привыкли совать и вставлять где ни попадя этот вопрос, что целые истории наладились рассказывать друг дружке таким приблизительно образом: «И тут он, визактмандасдойч, как врет ему...» Было, впрочем, хоть готовое оправдание, если родителям сообщалось о плохих успехах в языке венгерском. Одни только девочки-швабки, дочери нескольких крестьян позажиточней, свободно болтали на своем неблагозвучном, протяжно-медлительном наречии. По счастью, кое у кого немецкий был в заводе и дома, — как и обычный брат прислугу из Сепешшега². Сейчас я много читаю по-немецки.

Заботилась танте Софи и о нашем воспитании. Одно время мы крепко подружились с Мариш Надь, чей отец был канатчиком. Тогда учительница пригласила меня к себе и объяснила: дружбу эту надо бросить, она заранее обречена, — барышне Портельки все равно придется порвать ее, вступив в самостоятельную жизнь, так лучше это сделать раньше, иначе слезы да обиды пойдут. Всякий в наши дни осудит подобные понятия, но по тем временам была она, пожалуй, не так уж и неправа. Женщина неглупая, она прекрасно разбиралась, кто какое место занимает в обществе. Мама наша, Клари, не раз вывозила ее дочек на балы, как

¹ Как это сказать по-немецки? (нем.)

² Сепешшег — местность в тогдашней Венгрии с немецкоязычным населением.

и другие заинтересованные дамы, и танте Софи почитала себя очень им обязанной.

Тем временем и братья поступили в пиаристскую гимназию, но дома, в саду за хлевами, вольная наша детская жизнь продолжалась пока беспрепятственно. Постоянно я была среди мальчишек, с братьями и соседским сыном, а в куклы играть не очень любила. Сошью им разве что большущие шикарные шляпы, модные бальные платица вроде маминых, которые она тогда выписывала из Вены, наряжу — и опять к мальчишкам.

И еще один вечер, позже, тоже очень живо встает у меня в памяти.

3

Спали мы еще все втроем в давнишней стройки садовом домике с кухней, — в уютной старой комнате, где все напоминало о старине, о днях бабушкиной молодости. Флигелю этому, по общему уверению, было лет триста: приземистый, толсто-стенный, с глубоко посаженными, прихмуренными оконцами и громадными, потемневшими от времени сосновыми балками в алькове под потолком. Слева дверь вела на кухню, а в сенях тоже был старинный очаг с дымницей над ним.

Как отчетливо видится мне эта комната! Сюда из верхних, смотревших на улицу покоев сносились все, отслужившее свой срок. Стояла здесь застекленная бабушкина горка с тюлевыми котильонными бантами, наклеенными изнутри: память о славных балах стародавних времен. Висели розовые пастели в тусклых золотых рамках и гардины из ветхого алого бродата, украшав-

шие гостиную еще в деревенском барском доме. Кровати у нас были огромные, с массивными спинками, в которых принимались вдруг тикать жуки-точильщики, между ними — пузатые шкафики с врезанным в ящички медным узором. Невероятной махиной громоздился дубовый стол на крестовидных ножках; его мы с места стронуть не могли. Он считался самым старинным предметом в семье.

Уже тогда все это будило мое воображение, и я, замечтавшись, силилась представить себе, сколько ушедших в вечность женщин касалось этих порыжевших от времени бархатных покрывал; кто сиживал на затейливо изукрашенных стульях и вытертой, продавленной оттоманке?.. Комната испокон века отводилась у Зиманов под детскую, и лет двадцать назад наша мама, Клари, сама спала здесь с братьями и сестрами, сама шалила и тоже голыми коленками стояла на жестких кукурузных зернах, когда, играя в доктора, вар прилепила под косы младшей, Марике: видела, как гроби пивки ставит больным крестьянам. Ах, эти старые вещи, воспоминания, предания! Как они спаивают, скрепляют семью, — какое глубокое чувство вселяют, что мы только продолжаем жизни, протекшие до нас... Какую внушает все это уверенность: смотри на старших да следуй их советам; они сумели прожить — и ты проживешь! И снова приходят на мысль три моих дочери. Они-то далеки теперь ото всего этого; как-то очень уж быстро переменилась вокруг вся жизнь.

«А маму охватывала в четырнадцать лет такая вот непонятная, невесть откуда взявшаяся тревога? — задавалась я вопросом. — А гроби, эта суровая, почтенная старая дама, — она тоже краснела